

# Карл Густав Юнг

## Психология архетипа ребенка

Автор предыдущей работы по мифологии "ребенка" или детского божества попросил меня дать психологический комментарий к предмету его исследования. Я с удовольствием выполняю его предложение, хотя мне кажется, что это предприятие, ввиду большого значения мотива ребенка в мифологии, таит в себе немало риска. Греко-римский вариант этого мотива Кереньи уже сам расширил с помощью параллелей, имеющих индийское, финское и иное происхождение, — и тем самым он как бы дал понять, что изложение можно распространить на еще более обширный материал. Такое всеохватывающее и всестороннее описание не привносит как бы ничего принципиально нового, однако оно оказывает поистине ошеломляющее действие — складывается впечатление, что этот мотив имеет всемирное распространение и встречается очень часто. Обычно — и вплоть до сегодняшнего дня — мифологическим мотивом занимались в различных, но отделенных друг от друга областях науки, таких, как филология, этнография, история культуры и сравнительная история религии. Все это не слишком способствовало познанию его универсальности. Что касается психологической проблематики (вскрытой благодаря этой универсальности), то от нее легко можно было отмахнуться, сославшись на гипотезу миграции. Именно вследствие этого идеи Адольфа Бастиана не имели в свое время почти никакого успеха. Хотя уже тогда было достаточно эмпирического материала, имеющегося в распоряжении, чтобы сделать на его основе далеко идущие психологические заключения, — отсутствовали лишь необходимые предположения и посылки. Тогдашнее психологическое знание сводило процесс возникновения мифа только лишь к сфере компетенции последнего (что подтверждается примером Вундта и его психологией народов), будучи не в состоянии подтвердить и обнаружить тот же самый процесс в психике цивилизованного человека в качестве живой и наличествующей функции; точно так же психологическое знание не сумело понять мифологические мотивы в качестве структурных элементов психики.

Верное своей истории (где психология сначала была метафизикой, затем учением об органах чувств и лишь после — теорией сознания и его функций), — познание идентифицировало свой предмет с сознанием и его содержаниями, полностью упуская тем самым из виду существование несознательной души. Различные философы, такие как Лейбниц, Кант и Шеллинг, много раньше уже определенно и ясно указывали на проблему темной души, однако был также и врач, который почувствовал себя обязанным указать на бессознательное как на существенное основание души, исходя из своего естественно-научного и медицинского опыта. Это был К.Г. Карус, несомненный предшественник Эд. фон Гартмана. В новейшее время к проблеме бессознательного вплотную подошла опять же медицинская психология, не имея вовсе никаких философских гипотез. На материале исследований большого числа конкретных случаев стало ясно, что психопатология неврозов и многих психозов не может обойтись без гипотезы о некой темной части души, а именно, без гипотезы о бессознательном. То же самое верно и в отношении психологии сновидений; последняя является поистине *terra intermedia* между психологией нормы и патопсихологией. Как в сновидениях, так и в продуктах психоза были обнаружены бесчисленные связи, которые можно было поставить в параллель только с конstellациями мифологических идей (или, пожалуй, с некоторыми поэтическими продуктами, которым зачастую свойственны далеко не всегда осознанные мифологические заимствования). Если бы в ходе соответствующего основательного разыскания обнаружилось, что в большинстве подобных случаев речь идет просто о забытом опыте, то врач ни за что не стал бы утруждать себя и проводить пространные поиски по обнаружению параллелей между индивидуальным и коллективным. Однако на самом деле и на практике типичные мифологемы наблюдались именно у тех индивидов и в тех случаях, где подобные знания были совершенно исключены,

и где их невозможно было вывести даже — опосредованно — из сколько-нибудь известных религиозных представлений или из фигур обиходной речи ([Jung.] *Die Struktur der Seele* [Paragr. 31 ff.]). Эти и подобные результаты вынуждали предположить, что в данном случае, скорее всего, следовало бы говорить об "автохтонном" возрождении и повторном его возникновении помимо какой бы то ни было традиции, и вместе с тем, о наличии "мифообразующих" структурных элементов в бессознательной психике (Freud (*Die Traumdeutung*. P. 185) провел параллель между определенными аспектами инфантильной психологии и преданием об Эдипе; он обратил внимание на то, что "их общеобязательную действенность" можно объяснить, исходя из сходной инфантильной предпосылки. Подлинная разработка мифологического материала была впоследствии предпринята моими учениками (Maeder. *Essai d'interpretation de quelques rêves* и *Die Symbolik in den Legenden, Märchen, Gebräuchen und Traumens*. Riklin. *Ober Gefängnispsychosen und Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen*. Abraham. *Traum und Mythos*). Затем из Венской школы следует Rank. *Der Mythos von der Geburt des Helden*. В *Wandlungen und Symbole der Libido* (1911) я предпринял обширное исследование, в котором провел параллели между психическим и мифологическим материалами. Ср. также мою работу "*Ober den Archetypus (mit besonderer Berücksichtigung des Animabegriff)*". [Ges. Werke. Bd. 9/1].).

Когда мы сталкиваемся с такими продуктами, то никогда (или по крайней мере очень редко) речь не идет об оформленных мифах, а скорее о мифологических компонентах, которые можно обозначить — из-за их типичной природы — как "мотивы", "праобразы", "типы" или "архетипы" (как я их назвал). Архетип ребенка — прекрасный и меткий пример. Нынче мы даже вправе сформулировать тезис о том, что архетипы появляются в мифах и сказках, также как в сновидениях и психотических продуктах фантазии. Материалом, или средой, в которую они оказались вросшими, в первом случае, правда, является смысловая связь, упорядоченная и по большей части непосредственно понятная, в последнем же случае — это вереница образов, непонятная, иррациональная и напоминающая бред, вереница, которая однако не лишена смысловой спаянности, пусть и скрытой. У индивида архетипы проявляются как произвольные манифестации бессознательных процессов, существование и смысл которых может быть раскрыт только косвенно. В мифах же — напротив — речь идет о традиционных формовках, возраст которых чаще всего не поддается оценке. Своими духовными предпосылками и условиями (которые мы можем наблюдать у живущих еще сегодня примитивов) они восходят к примитивным доисторическим временам. На этой ступени развития мифы, как правило, являются родовым учением, которое изустно передается от поколения к поколению. Примитивное состояние духа отличается от цивилизованного главным образом тем, что сознание *in puncto* протяженности и интенсивности развито гораздо меньше. Главным образом еще не дифференцированы такие функции как мышление, воля и т. д.; они — предсознательны, например, в случае мышления это обнаруживается в том, что не нечто мыслится сознательно, а мысли являются. О примитиве нельзя сказать, будто он думает, но, скорее, "нечто мыслится в нем". Спонтанность мыслительного акта связана каузально не с его сознанием, а с его бессознательным. Он также не способен ни к какому сознательному напряжению воли, но он должен предварительно повергнуть себя в "настроение хотения" или быть повергнутым: отсюда его "*rites d'entree et de sortie*". Его сознание находится под угрозой могущественного и превосходящего по силам бессознательного — отсюда боязнь магических влияний, которые могут в любое время перечеркнуть его намерение, и потому он также окружен неизвестными силами, к которым он должен как-то приспособиться. При постоянно сумеречном состоянии его сознания чаще всего просто невозможно разобраться, — приснилось ли ему что-то или он пережил это на самом деле. Бессознательное, манифестируя себя посредством своих архетипов, повсеместно вторгается в его сознание; поэтому мифический мир предков, к примеру, мир альбира и вугари у австралийцев, имеет по силе равное с материальной природой, если не превосходящее ее, существование (Этот факт хорошо известен; специальной этнографической литературы по данному вопросу намного больше, чем мы

имеем возможность здесь ее привести.). Из его бессознательного говорит не тот мир, о котором мы что-то знаем, а неизвестный мир психики, о которой нам ведомо лишь то, что она отражает наш эмпирический мир только отчасти, и что она — в другой своей части — чуть ли не формирует его соответственно своим психическим предпосылкам. Архетип не столько вытекает из психических фактов, сколько описывает, как душа переживает эти психические факты, причем душа нередко ведет себя настолько самовластно, что отрицает осязаемую действительность и выдвигает утверждения, которые бросают вызов действительности.

Примитивное устройство духа не выдумывает никаких мифов, но переживает их. Изначально мифы — суть откровения подсознательной души, невольные высказывания о бессознательном духовном событии и менее всего аллегории психических процессов (Die Struktur der Seele [Paragr. 328 ff.]). Такие аллегории были бы только досужей игрой ненаучного интеллекта. Мифы же, напротив, имеют витальное значение. Они не только представляют, но также и являются душевной жизнью примитивного рода, который тотчас распадется и погибнет, если потеряет свое достоинство, унаследованное в мифе, так же как человек, который потерял душу. Мифология рода — это его живая религия, утрата которой всегда и повсюду (даже у цивилизованных людей) — моральная катастрофа. Религия — это живая связь с душевными процессами, которые не зависят от сознания, а происходят где-то по ту сторону от него, в темноте душевных задворков. Многие из этих бессознательных процессов возникают, правда, из косвенных понуждений сознания, но никогда не из сознательного произвола. Другие, как кажется, возникают спонтанно, т. е. без узнаваемых и без указующих на сознание причин.

Современная психология трактует продукты бессознательной деятельности фантазии как изображение процессов, происходящих в самом же бессознательном, или как высказывания бессознательной психики о себе самой. Различают две категории таких продуктов. Во-первых, фантазии (включая сновидения) личного характера, которые без сомнения восходят к лично-пережитому, забытому или вытесненному, и которые — вследствие этого — всецело могут быть объяснены, исходя из индивидуального анамнеза. Во-вторых, фантазии (включая сновидения) неличного характера, которые не могут быть сведены к переживаниям индивидуальной предыстории и которые, вследствие этого, не могут быть объяснены из индивидуальных *acquisitionen*. Несомненно, что эти образы фантазии имеют свою ближайшую аналогию с мифологическими типами. Поэтому можно допустить, что они вообще соответствуют определенным коллективным (а не личным) структурным элементам человеческой души и наследуются так же, как морфологические элементы человеческого тела. Хотя традиция и распространение путем миграции имеют все основания, тем не менее существует бесчисленное множество случаев, — как уже было сказано, — которые нельзя объяснить таким происхождением и которые требуют предположения об "автохтонном" возрождении и повторном возникновении. Эти случаи встречаются столь часто, что нельзя не предположить существование коллективного базового пласта души. Я обозначил это бессознательное как коллективное бессознательное.

Продукты этой второй категории настолько подобны структурным типам мифов и сказок, что их можно рассматривать как родственные. Потому столь же правомерно предположить, что оба — мифологические типы, так же как и индивидуальные — осуществляются при совершенно схожих условиях. Как уже упоминалось, продукты фантазии второй категории (впрочем, как и первой) возникают в состоянии пониженной интенсивности сознания (в сновидениях, делириях, дневных грезах, видениях и т. д.). В таких состояниях концентрация сознания становится меньше, и содержания, выходящие из бессознательного, не оттормаживаются; вместе с этим неосознаваемый ранее материал устремляется как будто из-за распахнутых кулис в пространство сознания. Этот способ возникновения бессознательных содержаний является всеобщим правилом (Исключения составляют некоторые случаи спонтанных видений, "*automatismes telfeologiques*" (Flournoy), и процессы, о которых я узнаю путем метода "активной имажинации" [*Zur Empirie des*

Individuatinsprozesses. Bd. 9/1].).

Пониженная интенсивность сознания, отсутствие концентрации и внимания, "abaissement du niveau mental" (П. Жане) довольно точно соответствует примитивному состоянию сознания, состоянию — в котором следует подозревать причину образования мифа. Поэтому очень даже возможно, что мифологические архетипы выявлялись точно таким же способом, как и индивидуальные манифестации архетипических структур, имеющие место донныне.

Методический принцип, согласно которому психология имеет дело с продуктами бессознательного, гласит: содержания архетипичной природы манифестируют процессы, происходящие в коллективном бессознательном. Они относятся не к сознанию или к чему-то, ставшему сознательным, а к сущностно бессознательному. Поэтому, в конечном счете, совершенно нельзя точно указать, к чему же они относятся. Всякое толкование по необходимости остается по форме "как будто". В конечном счете ядро значения можно даже перефразировать и изложить другими словами, но нельзя исчерпывающе описать. Тем не менее даже само это перефразирование и пересказ означают существенный прогресс в познании предсознательной структуры психики, которая была уже тогда, когда еще не существовало ни единства человека (чем еще наверняка не обладают современные примитивы), да и вообще никакого сознания. Такое предсознательное состояние мы можем наблюдать также в раннем детстве, и именно, сновидения этого раннего периода нередко споспешествуют обнаружению в высшей степени примечательных архетипических содержаний (Специальный материал содержится только в неопубликованных докладах психологического семинара в Eidgenossischen Technischen Hochschule. Zurich. 1936–1939.).

Если поступать согласно изложенному ранее принципу, то больше не возникает вопроса, относится ли миф к солнцу или к луне, к отцу или к матери, к сексуальности, к огню или к воде. Речь идет только о перефразировании, о приблизительной характеристике и обрисовке какого-то бессознательного ядра значений. Смысл этого nucleus никогда не был сознательным и никогда таковым не будет. Его только лишь толковали и толкуют, причем всякое толкование, которое мало-мальски приближается к этому сокровенному смыслу (или с точки зрения научного интеллекта — к бессмыслице, что сводится к тому же самому) — с давних пор претендовало не только на абсолютную истинность и узаконенность, но одновременно также на благоговение и религиозную преданность. Архетипы были и остаются душевной жизненной мощью, которая желает, чтобы к ней относились всерьез, и которая причудливым образом следит за тем, чтобы выказать себя. Они всегда были носителями защиты и исцеления, и их уязвление влекло за собой "perils of the soul" — хорошо известный феномен из психологии примитивов. Именно они — неперенные возбудители невротических и даже психотических нарушений, ведь они ведут себя точно так же, как запущенные и истерзанные органы тела или органические функциональные системы.

О чем бы ни высказывалось архетипическое содержание — это прежде всего языковое сравнение. Говорит ли оно о солнце и идентифицирует с ним льва, короля, охраняемые драконом сокровища или жизненные силы и здоровье человека, так это ни первое и ни второе, а нечто неизвестное третье, что может быть выражено более или менее точно через все эти сравнения, однако всегда остается — к постоянной досаде интеллекта — чем-то неизвестным и несформулированным. По этой причине научный интеллект все снова и снова оказывается во власти просветительских замашек и надеется окончательно покончить со всей этой неразберихой. Называются ли эти устремления евгемеризмом, христианской апологетикой, разъяснением в узком смысле слова или позитивизмом, за всем этим всегда скрывается новое, ошеломляющее облачение мифа, которое равно могло бы подойти как к древнему священному образчику, так и к современному разумению, кажущемуся окончательным. В действительности нам никогда легитимно не отделаться от архетипических основ, не согласившись поплатиться за это неврозом, — точно так же, как нельзя без самоубийства избавиться от тела или его органов. Если все же нельзя отречься от архетипов или как-нибудь иначе их умалить и обезвредить, то всякая, вновь достигнутая

ступень культурной дифференциации сознания сталкивается с задачей: отыскать новое, соответствующее ступени толкование, чтобы сопрячь и сплести воедино ту, все еще существующую в нас прошлую жизнь с жизнью современной, так как первая вот-вот ускользнет. В том же случае, когда этого не происходит, возникает сознание, лишенное корней, которое более не ориентируется на прошлое, — и оно беспомощно изнемогает и падает под тяжестью всех суггестий, т. е. становится фактически подверженным психическим эпидемиям. Вместе с потерянным прошлым, которое враз стало "невзрачным", обесцененным и лишенным всякого величия, пропадает и теряется также носитель исцеления, потому что носитель исцеления либо сам является этим невзрачным, либо из него проистекает. Он возникает при "изменении облика богов" (Циглер), так сказать, всякий раз как провозвестник и первенец нового поколения; он неожиданно обнаруживается в невероятном месте (порожденный камнем или деревом, в пахотной борозде или в воде) и в двусмысленном облике (карлик, ребенок, мальчик-с-пальчик, животное и т. д.).

Этот архетип "божественного ребенка" чрезвычайно широко распространен в очень тесно сплетен со всеми другими мифологическими аспектами мотива ребенка. Едва ли необходимо ссылаться на все еще живого "младенца-Иисуса", который в легенде о Христофоре обнаруживает все тот же самый типичный аспект "меньше малого и больше большого". В фольклоре мотив ребенка появляется в облике карлика или эльфа в качестве разъяснения потаенных сил природы. К этой области относится также позднеклассическая фигура ((((((((((, или металлического человечка (Berthelol. Collection des anciens alchimistes grecs. III. XXXV. P. 201.), который, с одной стороны, вплоть до позднего средневековья, оживотворял рудниковые шахты (Agricola. De Animantibus subterraneis. Kircher. Mundus subterraneus. VIII. Cap. IV.), с другой стороны, представлял алхимические металлы (Mylius. Philosophia Reformata. 1622.), и прежде всего Меркурия, возрождаемого в совершенном облике (в виде гермафродита, как *filius sapientiae* или как *infans noster*) (Allegoria super librum turbae // Artis auriferae. 1. P. 161.). Благодаря религиозному толкованию "ребенка" до нас дошли также некоторые средневековые свидетельства, которые показывают, что "ребенок" был не только фигурой, сообразной традиции, но также спонтанно переживаемым видением (при так называемом "вторжении бессознательного"). Упомяну видение "обнаженного мальчика" у Майстера Экхарда, а также сновидение брата Евстахия (Texte aus der deutschen Mystik des 14. u. 15. Jahrhunderts. P. 143, 150.). Интересные сообщения о таких же спонтанных переживаниях находим мы в английских рассказах о привидениях, где речь идет о видении "Radiant Boy", которого якобы видели на том месте, где некогда были римские руины (Ingram. The Haunted Homes and Family Traditions of Great Britain. P. 43ff.). Сообщается, что этот образ сулит несчастья. Складывается такое впечатление, будто речь идет чуть ли не о фигуре "puer aeternus", которая из-за "изменения облика" стала неблагоприятной, разделив тем самым участь античных и германских богов, которые вдруг и все скопом стали чудищами. Мистический характер такого переживания подтверждает нам также Гете (Фауст, 2 часть), где сам Фауст превратился в мальчика и был принят в "хор блаженных мальчиков", что соответствует "стадии куколки" доктора Мариануса (Существует старый алхимический авторитет, именуемый Morienes, Morienus или Marianus (De Compositione alcheminae // Mangetus. Bibliotheca chemica curiosa. I. P. 509 ff.). Вероятно, такая связь вовсе не является неожиданной, принимая во внимание явный алхимический характер Фауста. 4.11.).

В одной диковинной истории Бруно Гетца "Das Reich ohne Raum" образ *puer aeternus* появляется под именем Фо (=Будда) в самом что ни на есть исконном значении вместе с целым хором "злосчастных мальчиков". (Современные произведения лучше не толковать.) Я упоминаю этот случай только лишь для того, чтобы указать на живучесть данного архетипа во все времена.

В области психопатологии мотив ребенка встречается также нередко. Часто это фантомный ребенок у душевнобольных женщин, который, как правило, истолковывается по-христиански. Но случаются также и гомункулы, как в знаменитом случае Шребера

([Schreber]. Denkwürdigkeiten eines Nervekranken. 1903.), где они появлялись толпой и докучали больному. Но наиболее рельефно и вразумительно мотив ребенка обнаруживается при терапии неврозов в процессе созревания личности, к которому приводит анализ бессознательного. Этот процесс ранее я обозначил как процесс индивидуации (Общее изложение в: Bewusstsein, Unbewusste und Individuation [Bd.9/1]. Специальная феноменология в последующих разделах, а также в: Psychologie und Alchemie [Zweiter Teil: Traunismbole des Individuationsprozesses], а также в: Zur Empirie des Individuationsprozesses [Bd. 9/1].). В случае такого процесса речь идет о предсознательных событиях, которые постепенно и исподволь переходят либо прямо в сознание, в форме более или менее оформленных фантазий, либо осознаются в форме сновидений, либо, в конечном счете, делаются сознательными посредством метода активной имажинации (Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Zweiter Teil. III. [далее: Die transzendente Funktion].).

В этих материалах в избытке содержатся архетипические мотивы, и немалое место среди них занимает мотив ребенка. Зачастую ребенок принимает вид как бы в подражание христианскому образцу, но значительно чаще он ведет свое происхождение из нехристианских праступеней, а именно, от животных, обитающих в преисподней (таких, как крокодилы, драконы, змеи), или от обезьян. Нередко ребенок появляется в цветочных чашечках, или из золотого яйца, или же в виде сердцевины мандалы. В сновидениях он является по большей части как сын или дочь, как мальчик, подросток или девушка; иногда он имеет экзотическое происхождение (китайское, индийское, с темным цветом кожи) или даже космическое (под звездами или окруженный ореолом звезд, как сын короля или как дитя ведьмы с демоническими атрибутами). Иногда встречается особый случай манифестации этого же мотива как "трудно достижимой драгоценности" (Symbole der Wandlungen.). Тогда мотив ребенка чрезвычайно изменчив и принимает все, какие только можно формы, например, драгоценного камня, жемчужины, цветка, сосуда, золотого яйца, четверицы, золотого шара и т. д. Представляется, что он может чуть ли не безгранично подменяться этими и другими подобными образами.

## **А. Психология архетипа ребенка**

### **1. Архетип как состояние прошлого**

Теперь, что касается психологии нашего мотива, то я должен заметить, что всякое высказывание об архетипе, выходящее за пределы чисто феноменального, неизбежно подпадает под уже ранее изложенную критику. Нельзя ни на миг предаваться иллюзии, будто архетип может быть до конца объяснен и тем самым упразднен. Даже самая что ни на есть лучшая попытка объяснения — это всего лишь более или менее удачный перевод на другой язык образов. (Ведь язык есть не что иное, как образ!) В лучшем случае миф продолжает приходить к нам в сновидениях в современном облике. А то, с помощью чего его объясняют и истолковывают, всегда волнует и затрагивает нашу душу, — и потому имеет соответствующие последствия для нашего самочувствия и благого расположения духа. Ибо архетип — о чем никогда не следует забывать — душевный орган, который имеется у каждого. Плохое объяснение означает соответственно плохую установку по отношению к этому органу, из-за чего последнему наносится ущерб. В конечном счете, всякий сетующий — просто скверный толкователь. Именно поэтому любое "объяснение" всегда должно быть таким, чтобы остался сохранен функциональный смысл архетипа, иначе говоря, чтобы была обеспечена удовлетворительная и сообразная со смыслом связь между сознанием и архетипом. Ведь именно последний является психическим структурным элементом, а потому и витально необходимым компонентом всего душевного хозяйства. Он репрезентирует или персонифицирует некие инстинктивные данности примитивной темной психики, подлинные, но невидимые корни сознания. Сколь значима эта исходная и базовая связь с корнями свидетельствует тот факт, что примитивный дух был чрезвычайно сильно обеспокоен

относительно некоторых "магических" факторов, которые как раз суть не что иное, как то, что мы называем архетипами. Эта праформа религии еще и сегодня образует нечто действенное и существенное для всей религиозной жизни, и это всегда будет таковым оставаться, какие бы формы ни принимала религиозная жизнь в будущем.

Для архетипа нет никакого "разумного" замещения — вероятно, даже в меньшей степени, чем для мозжечка или для почки. Мы можем исследовать органы тела анатомически, гистологически или с точки зрения исторического развития. Тогда этому же, вероятно (применительно к архетипу), соответствовало бы описание его феноменологии и воссоздание историко-сравнительных параллелей. Однако смысл органа тела явствует только и исключительно из телеологической постановки вопроса. Отсюда и возникает вопрос: какова биологическая цель архетипа? Задача психологии — дать ответ на те же вопросы об архетипе, которые ставит и решает физиология в отношении физиологических органов и тел.

Мы бы только уклонились от вопроса, если бы констатировали, что "мотив ребенка" является пережитком воспоминания о собственном детстве" или если бы давали другие подобные разъяснения. Но если мы — чуть изменив посылку — скажем, что мотив ребенка — это образ некоторых обстоятельств собственного детства, которые мы позабыли, то это будет уже ближе к истине. Но так как в случае архетипа речь идет о целом человечестве, а не только об образе, принадлежащем кому-то одному, то, скорее всего лучше сформулировать так: мотив ребенка репрезентирует предсознательный аспект детства коллективной души (Нелишне, вероятно, заметить, что дилетантский предрассудок имеет постоянную склонность соединять воедино мотив ребенка с конкретным опытом "ребенка", как если бы реальный ребенок был каузальной предпосылкой к существованию мотива ребенка. В психологической реальности эмпирическое представление "ребенка" является только средством выражения (и вовсе не единственным!) для трудно постигаемого и схватываемого фактического материала о душе. Поэтому совершенно определенно можно сказать, что мифологическое представление о ребенке является не копией эмпирического "ребенка", а прозрачным и легко узнаваемым символом: речь идет о божественном, чудесном ребенке, (а вовсе не о человеческом) — зачатом, рожденном и возвращенном при совершенно необычных обстоятельствах. Его дела столь же чудесны и чудовищны, как его натура и телосложение. Только и именно благодаря этим неэмпирическим свойствам возникает вообще необходимость говорить о "мотиве ребенка". Повсеместно этот мифологический "ребенок" имеет вариации в виде бога, великана, мальчика-с-пальчика, животного и т. д. — что никак уже не может быть сведено к рациональной и конкретной человеческой каузальности. То же самое верно и в отношении архетипов "отца" и "матери", которые в той же мере являются мифологическими и иррациональными символами.).

Не будет большой ошибкой, если мы представим себе это высказывание прежде всего как историческое по аналогии с определенным психологическим опытом, который показывает, что некоторые отрезки индивидуальной жизни могут обособиться и персонифицироваться в такой степени, что становится возможным даже созерцание самого себя как бы со стороны. Например, можно смотреть на себя самого как на ребенка. Подобный визионерский опыт — имеет ли он место быть в сновидении или в состоянии бодрствования — сопряжен, согласно эмпирическим наблюдениям, с некоторыми предпосылками и обстоятельствами, например с тем, что произошла вышеупомянутая диссоциация между состоянием настоящего и прошлого. Такие диссоциации случаются на почве несовместимости, когда, к примеру, нынешнее состояние оказалось в противоречии с состоянием детства. В этом случае, вероятно, произошло насильственное отделение и отмежевание от своего исходного характера в пользу самопроизвольной и самовольной Персоны (Psychologischen Typen [Paragr. 879f.]; Definition Oler Seele Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Erster Teil. 3 Kp.), потакающей амбициям. Тем самым человек становится недетским и искусственным, т. е. потерявшим свои корни. Это как раз благоприятный повод для резкой конфронтации с исходной истиной.

Имея в виду тот факт, что вплоть до настоящего времени человечество не прекратило

давать показания о божественном ребенке, мы, по-видимому, вправе распространить аналогии на жизнь всего человечества и сделать вывод о том, что также и человечество, вероятно, все снова и снова оказывается в противоречии к условиям своего детства, т. е. с исходным, бессознательным и инстинктивным состоянием, и что — следовательно — все еще наличествует опасность того противоречия, которое побуждает к видению "ребенка". Поэтому любое религиозное упражнение — то есть помятование и ритуальное повторение мифологического события — имеет целью вновь и вновь наглядно продемонстрировать сознанию образ детства и всего, связанного с ним. Все это делается для того, чтобы не оборвалась связь с исходным условием и состоянием.

## **2. Функция архетипа**

Мотив ребенка — это не только что-то бывшее и давным-давно прошедшее, но это также нечто нынешнее и настоящее, т. е. этот мотив не только пережиток, но система, функционирующая в настоящем, — система, которая предназначена для того, чтобы рационально компенсировать, соответственно, корректировать неизбежные односторонности и сумасбродства сознания. Сущность сознания состоит в концентрации на относительно небольших содержаниях, которые — по мере возможности — усиливаются и достигают полной ясности. Необходимым следствием и условием сознания является исключение мимолетных, но могущих все же быть осознанными содержаний. Это исключение неминуемо вызывает известную односторонность всех содержаний сознания. Так как дифференцированное сознание цивилизованного человека получило вместе с динамикой воли действенный инструмент для практического осуществления своих содержаний, то по мере возрастания и совершенствования воли все большей становится опасность запутаться в односторонностях и сбиться с правильного пути в нечто беззаконное и лишенное корней. С одной стороны — это, конечно, возможность человеческой свободы, но с другой — источник постоянных напастей со стороны инстинкта. Поэтому примитивный человек отличался — из-за того, что он так же близок к инстинкту, как животное — неохотой и привязанностью к традиции. На наш вкус, он нестерпимо отстал, тогда как мы превозносим прогресс. С одной стороны, наша прогрессивность, конечно, позволяет нам выполнить множество прекраснейших желаний, но, с другой стороны, точно в той же степени множится и скапливается гигантская, прометеевская вина, которая время от времени требует расплаты в форме судьбоносных катастроф. Как долго человечество мечтало и грезило о полетах, и сейчас мы вплотную подошли к бомбардировщикам! Сегодня посмеиваются, над христианской верой в загробную жизнь на том свете, но сами часто впадают в хилиазмы, которые во сто крат безрассудней, чем идея о блаженном потустороннем мире без смерти! Дифференцированному сознанию всегда грозило искоренение, поэтому ему требовалась компенсация посредством наличного состояния детства.

Симптоматика этой компенсации выглядит, конечно, с точки зрения прогресса малопривлекательной. Так как речь идет, при поверхностном взгляде, об эффекте ретардации, или отставании, то говорят об инерции, отсталости, скептицизме, придиристичности, консерватизме, боязливости, мелочности и т. д. Однако поскольку человечество в большинстве своем не способно избавиться от своих собственных оснований, то оно может некритично увлечься опасными односторонностями, которые далеко заведут его — вплоть до катастрофы. Идеал ретардации — всегда более примитивный, естественный (как в хорошем, так и в дурном смысле) в "моральный", поскольку он хранит верность преданию и завещанному закону. Идеал прогрессивный — всегда более абстрактный, противоестественный, и — поскольку он требует неверности в отношении традиции, — "аморальный". Прогресс, понуждаемый волей, — это всегда судорога. И хоть отсталость ближе к естественности, но все же ей постоянно грозит неприятное пробуждение. В древности уже отдавали себе отчет в том, что прогресс возможен только "Des concedente", о чем свидетельствует обладание противоречивым сознанием и воспроизведение на более



высоком уровне стародавних "rites d'entree et de sortie". Однако, чем более дифференцируется сознание, тем больше становится опасность его отторжения от состояния укорененности. Полное разъединение наступает тогда, когда позабыто "Deo concedente". Сегодня это — психологическая аксиома; ведь отщепленная от сознания часть души только кажется инактивированной, в действительности же она ведет к одержимости личности, из-за чего происходят фальсификация и искажение в постановке личностных целей под стать отщепленной части души. Таким образом, если ребячливое состояние коллективной души вытесняется вплоть до полного исключения, то бессознательное содержание завладевает процессом сознательного целеполагания и тем самым тормозит, фальсифицирует или прямо-таки разрушает претворение этих целей в жизнь. Жизнеспособный прогресс осуществляется только через кооперацию сознательных и бессознательных содержаний.

### **3. Будущность в характере архетипа**

Существенным аспектом мотива ребенка является его характер будущности. Ребенок — это потенциальное будущее. Поэтому возникновение мотива ребенка в психологии индивида означает, как правило, предвосхищение грядущего развития, даже если на первый взгляд кажется, что речь идет о ретроспективном изображении. Ведь жизнь — это исхождение, это поток, текущий в будущее, а не откатывающая назад запруда. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мифические носители исцеления столь часто являются детьми богов. Это в точности соответствует психологическому опыту тех немногих, кто свидетельствует, что "ребенок" подготавливает грядущее изменение личности. Он (ребенок) антиципирует в процессе индивидуации тот облик, который получится в результате синтеза сознательных и бессознательных элементов личности. Поэтому ребенок — символ, объединяющий противоположности (Psychologische Typen. [Paragr. 315 ff.]) — медиатор, носитель исцеления, т. е. делатель целого. Ради этого значения мотив ребенка может даже видоизменять свои формы, о чем уже упоминалось выше: он выражается, например, через окружность, круг или шар, или через четверицу как одну из форм целостности (Traumsymbole des Individuationsprozesses [Psychologie und Alchemie] и Psychologie und Religion. [Paragr. 108 ff.]). Я обозначил эту трансцендентную сознанию целостность как Самость (Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. [Paragr. 398 ff.]. Ср. также Aion, 4 Кр.). Цель процесса индивидуации — есть синтез Самости. При рассмотрении с другой точки зрения рекомендуется вместо термина "синтез" использовать, быть может, даже термин энтелехия. Тому имеется эмпирическое основание, почему последнее выражение, скорее всего, является более подходящим: символы целостности зачастую появляются именно в начале процесса индивидуации; мы их можем наблюдать в самых что ни на есть ранних инфантильных сновидениях. Это наблюдение само по себе говорит в пользу того, что целостность наличествует в потенциальности априорно (Psychologie und Alchemie [Paragr. 328 ff.]), вследствие чего и рекомендуется использовать понятие энтелехии. Вместе с тем эмпирический процесс индивидуации протекает как синтез, поэтому создается впечатление, будто нечто, имеющееся в наличии, было как бы собрано, или объединилось парадоксальным образом. Вот почему допустимо использовать также и выражение "синтез".

### **4. Единство и множественность мотива ребенка**

В многообразной феноменологии "ребенка" следует различать единство и множественность в зависимости от формы проявления. Если речь идет, например, о многих гомункулах, карликах, мальчиках и т. д., которые не имеют никаких сугубо индивидуальных характеристик, то очень правдоподобно, что налицо диссоциация. Такие формы мы встречаем особенно часто при шизофрении, сущность которой состоит в фрагментированности личности. Тогда большое количество детей представляет продукт разложения личности. Если же множественность встречается у нормальных людей, тогда

речь идет о репрезентации неосуществленного еще синтеза личности. Личность (соответственно — "Самость") находится в этом случае только на ступени множественности, т. е. имеется как бы одно "Я", которое, однако, не может пережить свою целостность в рамках собственной личности, а только в общности с семьей, родом или нацией; "Я" еще находится в состоянии бессознательной идентичности с множественностью группы. Церковь принимает в расчет это всеобщее распространенное состояние в учении о *corpus mysticum* и о членстве в нем каждого.

Если же мотив ребенка появляется в форме единства, то речь идет о бессознательном и вместе с тем уже предварительно совершенном синтезе личности, который на практике, как и все бессознательное, означает не более, чем возможность.

### **Детский бог и героический ребенок**

"Ребенок" проявляет то аспект детского божества, то, в большей мере, аспект юного героя. Оба типа имеют чудесное происхождение и одну общую судьбу в младенчестве, заброшенность и угрозу со стороны гонителей. Бог есть чистая сверхприрода, герой же имеет человеческую сущность, возвышенную, однако до границ сверхъестественного ("полубожественности"). Тогда как Бог, особенно в Его интимной связи с символическим животным, персонифицирует коллективное бессознательное (которое все еще не объединилось с человеческой сущностью), герой вбирает в свою сверхприроду и эту человеческую сущность и представляет поэтому синтез бессознательного ("божественного", т. е. еще негуманизированного) и человеческого сознания. Это означает, следовательно, потенциальное предвосхищение одной из целостностей приближающейся индивидуации.

Судьбы "ребенка" следует поэтому рассматривать как изображения тех психических событий, которые разыгрываются в энтелехии или при возникновении "Самости". При помощи "чудесного рождения" как бы пытаются живописать вид особого переживания в процессе такого становления. Поскольку речь идет о возникновении психического, то все должно происходить не так, как известно из эмпирического опыта: например, рождение от девы, или путем чудесного зачатия, или рождение происходит из неестественных органов. При помощи мотива "невзрачности", отданности на произвол, заброшенности, подверженности всякого рода опасностям и т. д. стараются изобразить шаткую психическую возможность существования целостности, т. е. чрезмерную трудность на пути достижения этого наивысшего блага. Тем самым также характеризуется бессилие и беспомощность того жизненного напора, который принуждает все растущее подчиниться закону максимально совершенного и полного самоосуществления, причем действия, исходящие из внешнего мира в самых разных формах, чинят величайшие препятствия на пути каждой индивидуации. Если самовыражению и своеобразию угрожают драконы и змеи, то это указывает на опасность того, что инстинктивная душа, бессознательное опять заглатывает сознание, только что приобретенное. Низшие позвоночные, чья анатомическая локализация совпадает с субкортикальными центрами, с мозжечком и со спинным мозгом, с давних пор являются излюбленными символами для описания коллективных психических основ (Высшие позвоночные символизируют главным образом аффекты.). Эти органы образуют змею (Это значение змеи имеется уже у *Hyperpolytos Refutatio. omn. haer. IV. P. 49–51. Ср. также Leisegang "Die Gnosis". P. 146.*). Сновидения о змеях происходят поэтому, как правило, при отклонениях сознания от инстинктивных основ.

Мотив "меньше малого, но больше большого" присовокупляет к бессилию дополнительные, но столь же чудесные деяния "ребенка". Эта парадоксальность принадлежит сущности героя и проходит красной нитью через всю его жизненную судьбу. Он справляется с величайшей опасностью, но погибает, в конце концов, от чего-то "пустяшного": Бальдер от омелы, Мауи от смеха маленькой птицы, Зигфрид от удара в уязвимое место, Геракл от подарка жены, другие — из-за обычной измены и т. д.

Основное деяние героя — преодоление чудища тьмы: это чаемая и ожидаемая победа

сознания над бессознательным. День и свет — синонимы сознания, ночь и тьма — бессознательного. Осознание — ведь самое что ни на есть сильное древнее переживание, потому что вместе с ним возникает мир, о существовании которого прежде никто ничего не знал. И Бог сказал: "Да будет свет!" — это проекции того доисторического переживания осознаваемости, отделившейся от бессознательного. Между тем у примитивов, живущих еще сегодня, душевная наличность является еще чем-то подверженным опасности, а "потеря души" — типичной душевной аффектацией, которая понуждает примитивную медицину к разнообразным психотерапевтическим вмешательствам. Поэтому-то "ребенок" и выделяется деяниями, которые указывают на эту цель по одолению тьмы.

## **В. Специальная феноменология архетипа ребенка**

### **1. Заброшенность ребенка**

Заброшенность, покинутость, подверженность опасностям и т. п. принадлежат, с одной стороны, к последующей разработке того же начала невзрачности, а с другой — к таинственному и чудесному рождению. При помощи этого содержания описывается определенное психическое переживание, творческое по своей сути, имеющее своим предметом появление еще непознанного и нового содержания. В психологии индивида в такой момент речь идет всегда о горестной конфликтной ситуации, из которой, как кажется сознанию, не существует выхода — потому что оно всегда считает, что *tertium non datum* (Psychologische Typen. [Paragr. 249ff.]). Из коллизии противоположностей бессознательная психика всегда создает нечто третье, иррациональное по своей природе — что является чем-то неожиданным и непостижимым для сознания. Это "что-то" представляет себя в такой форме, которая не соответствует ни "да", ни "нет", а потому не принимается ни как "да" и ни как "нет". Сознание ведь не ведает ничего помимо противоположностей, а потому оно также не распознает и того, что их объединяет, или совмещает. Но так как разрешение конфликта путем единения противоположностей имеет витальное значение, и сознание этого также страдает, то оно проникается предчувствием многозначительного творения и созидания. Вот откуда возникает нуминозный характер "ребенка". Какое-то значительное, но неведомое содержание всегда оказывает на сознание тайное, fasciniрующее действие. Новый облик ребенка представляет собой целостность в процессе становления; он на пути к целостности по крайней мере потому, что нарушает "цельность" и монолитность сознания, разрываемого противоположностями, и потому превосходит последнее в полноте. Оттого-то всем "объединяющим символам" присуще значение избавления.

В этой ситуации появляется "ребенок" как символическое выражение чего-то, что явственно отмежевалось, т. е. отделилось от фона (матери), но что порою даже втягивает мать в опасные перипетии и непредсказуемые опасные ситуации; чему угрожает, с одной стороны, абсентистская, отвергающая позиция со стороны сознания, с другой — *horror vacui* бессознательного, которое всегда готово поглотить всех своих чад, потому что оно их породило как бы шутя, и разрушение — неминуемая часть игры. Ничто в мире не идет навстречу рождению нового, но несмотря на это, именно это новое является самым ценным и самым перспективным произведением самой праприроды, так как это означает, в конечном счете, наивысшее самоосуществление. Поэтому сама природа, сам инстинктивный мир попечительствуют ребенку: его вскармливают и защищают звери.

"Ребенок" означает нечто, вырастающее в самостоятельность. Он не может стать без отторжения от истоков. Поэтому заброшенность является именно необходимым условием, а не только сопутствующим явлением. Конфликт не может быть преодолен, если сознание остается одержимым и захваченным противоположностями; именно поэтому ему необходим какой-то символ, который бы ясно указал на необходимость отторжения от истоков. Благодаря тому, что символ "ребенка" очаровывает и захватывает сознание, избавляющее

влияние переходит в сознание и вырывает его из конфликтной ситуации, на что сознание раньше не было способно. Символ — это антиципация состояния сознания, которое только-только находится в процессе становления. До тех пор, пока это состояние не зафиксировано, "ребенок" остается мифологической проекцией, которая требует культового повторения и ритуального воспроизведения. Младенец Иисус, к примеру, все еще является культовой необходимостью, так как в большинстве своем люди пока не способны психологически реализовать изречение: "Если не будете как дети". Так как при этом речь идет о чрезвычайно трудном и опасном переходном периоде и этапе развития, то не удивительно, что подобные фигуры часто сохраняют свою жизненную силу на протяжении столетий или даже тысячелетий. Все, чем человеку следовало бы быть как в позитивном, так и в негативном смыслах, но чем он быть все еще не может — все это живет или как мифологический облик и антиципация за пределами (и помимо) его сознания, либо как религиозная проекция, либо — что куда как опасней — как содержания бессознательного, которые вдруг затем спонтанно проецируются на неподобающие предметы, такие, например, как учения о здоровом образе жизни и различные "гигиенические" процедуры. Все это — рационалистическая замена мифологии, такая замена, которая из-за своей неестественности скорее создает опасности, чем содействует человеку.

Безвыходная конфликтная ситуация, из которой появляется "ребенок" как иррациональное Третье — конечно же формула, применимая только лишь к психологической, т. е. современной ступени развития. К душевной жизни примитива ее нельзя приложить напрямую, и нельзя хотя бы потому, что детский объем сознания примитива исключает целый мир возможностей психического переживания. Современный моральный конфликт на естественной ступени развития примитива был бы объективно настоящим бедствием и серьезной угрозой для его жизни. Не потому ли образы ребенка являются носителями культуры и идентифицируются с факторами, способствующими культурному развитию, с такими, как огонь (Даже у Христа, а также у Св. Духа — огненная природа ("Qui iuxta me est, iuxta ignem est") [Кто близок ко Мне — близок к огню] // Origenes. *Homiliae in Ieremiam*. XX. 3. Цит. по: Preuschen. *Antilegomena*. P. 44.), металл, пшеница, маис и т. д. В качестве просветителей, т. е. того, что способствует увеличению сознания, они одолевают тьму, а именно предыдущее бессознательное состояние. Более высокое сознание — как знание и ведение чего-то другого, помимо осознанного сегодня и сейчас — равнозначно одиночеству в мире. Одиночество выражает противоположность между носителем, или символом более высокой и зрелой осознанности, и внешним миром, окружающим его. Образы победителей тьмы мы можем найти в самые что ни на есть давние времена, последнее определенно указывает на то (вместе со многими другими преданиями), что тогда уже имелась психическая пранужда, а именно неосознаваемость. Именно из этого источника происходит "неразумный" страх темноты у сегодняшних примитивов. В одном племени (на горе Элгон) я обнаружил что-то вроде формы религии, которая соответствовала пантеистическому оптимизму. Между тем эта оптимистическая убежденность исчезала и сходила на нет с шести вечера до шести утра и сменялась, соответственно, страхом, потому что ночами там господствует сущность тьмы — Айик, "делатель страха". Днем в этой местности не было никаких громадных змей, по ночам же они подстерегали повсюду и поджидали путников. В общем по ночам здесь разыгрывалась и творилась настоящая мифология.

## 2. Непреодолимость ребенка

Во всех мифах о ребенке бросается в глаза один парадокс, потому что, с одной стороны, бессильный ребенок отдан в руки могущественным врагам, и ему угрожает постоянная опасность уничтожения, с другой стороны, однако, он располагает силами, которые далеко превосходят человеческую меру. Это положение тесно связано с тем психологическим фактором, что ребенок, с одной стороны, именно "невзрачен", т. е.

неприметен, "только лишь ребенок", но с другой стороны — божествен. Если принять точку зрения сознания, то кажется, что речь идет о каком-то незначительном содержании, в отношении которого никак нельзя предположить, что оно обладает разрешающим, и уж тем более избавляющим характером. Сознание так захвачено своей конфликтной ситуацией, и борющиеся там силы кажутся столь большими, что одиноко вспыхивающее содержание "ребенка" не имеет никакого отношения к обстоятельствам сознания. Таким образом это содержание попросту не замечается или упускается из виду и вновь подпадает под власть бессознательного. По меньшей мере стоило бы опасаться, если положение вещей складывается в соответствии с ожиданиями сознания. Миф как раз подчеркивает, что это неверно, и что, напротив, "ребенку" причитается сила, и что он неожиданно, несмотря на все угрозы, будет иметь успех. "Ребенок" появляется как плод бессознательного, рожденный из его лона, зачатый и сотворенный в самых основах человеческой природы или даже живой природы в целом. Он персонифицирует жизненную мощь, которая имеется вне ограниченного объема сознания, те пути и возможности, о которых сознание в своей односторонности ничего не ведаёт, и целостность, которая включает глубины природы. Он представляет собой сильнейший и неизбежный порыв всякого существа, а именно порыв к самоосуществлению. Он — внутреннее веление, невозможность поступить иначе, оснащенное всеми естественными силами инстинкта, в то время как сознание постоянно плутает в мнимости, будто оно может поступать так, как хочет. Порыв и непреложность самоосуществления — естественная закономерность, и поэтому она обладает непреодолимой силой, даже если поначалу ее действие неприметно и неправдоподобно. Сила выражается в изумительных подвигах героического ребенка, позже — в *athia* (делах) слуги (тип Геракла), в образе которого герой перерастает бессилие "ребенка", но занимает еще неприметное положение. Образ слуги, как правило, переходит затем к собственной эпифании полубожественного героя. Как ни странно, в алхимии мы имеем совершенно сходную вариацию мотива, правда в синонимах *lapis*. В качестве *materia prima* он — лишь *lapis exilis et vilis*. В качестве субстанции превращения он появляется как *servus rubeus* или *fugitivus*, и наконец, он достигает в полном апофеозе достоинства *filius sapientiae* или *deus terrenus* и становится "светом всех светил", властью, которая содержит в себе высшие и низшие силы. Он становится *corpus glorificatum*, которая достигает вечной нетленности, а поэтому — также и панацеей ("носителем исцеления!") (Материал собран в *Psychologie und Alchemie. Zweiter und Dritter Teil*. Меркурий как прислужник в притче Eirenaeus Philalethes. *Erklärung der Hellenistisch Poetschen Werke Hemi Georgie Riplaci*. P. 131 ff.). Величие и непреодолимость ребенка тесно связаны в индийской философии с сущностью Атмана. Последний соответствует формуле: "меньше малого и больше большого". Самость как индивидуальное явление — "меньше малого", однако как эквивалент мира — "больше большого" ([Ср. *Katha-Upanischad // Sacred Book of the East* XV. P. 11. Перевод и комментарий в: *Psychologische Typen*. Paragr. 342.]). Самость как полярность и противоположность, как абсолютно "иное" по отношению к миру, является *conditio sine qua* non познания мира и осознания субъекта и объекта. Это — психическое инобытие, которое вообще делает возможным сознание. Идентичность же как раз не способствует осознанию; только отделение, и только разделение и горестное пребывание-в-противоположности мог породить сознание и познание. Индийская интроспекция уже давно познала это психологическое положение вещей и потому соединила, сделала единым субъекта познания и субъекта существования. Сообразно с преимущественно интроспективной направленностью индийского мышления сам объект потерял даже атрибут абсолютной действительности и зачастую становился только лишь видимостью. Греко-европейская направленность духа не смогла избавиться от убежденности в абсолютном существовании мира. Это произошло однако за счет приписывания Самости космического значения. Сегодня западному человеку столь же трудно постичь психологическую необходимость трансцендентального субъекта познания в качестве полной полярности эмпирическому универсуму, хотя допущение о существовании Самости, противостоящей миру по крайней мере в качестве точки отражения, является логической

необходимостью. Невзирая на соответствующую философскую позицию, — которая либо отвергает, либо принимает только с оговорками данное утверждение, — в нашей бессознательной психике все же существует компенсаторная тенденция к восстановлению символа Самости в его космическом значении. Эти старания происходят в архетипических формах героического мифа, что, так сказать, легко можно наблюдать в каждом процессе индивидуации.

Феноменология рождения "ребенка" вновь и вновь отсылает нас к психологическому прасостоянию незнания, т. е. темноты или сумеречности, к состоянию неразличения субъекта от объекта, бессознательной идентичности человека и мире. В этом состоянии неразличимости возникает золотое яйцо, которое является столь же человеком, сколь и миром, но все же не обоими, а чем-то иррациональным третьим. Сумеречному сознанию примитива кажется, будто яйцо выходит из лона большого мира и вследствие этого является космическим и объективно-внешним событием. Дифференцированному сознанию, напротив, представляется совершенно ясным, что это яйцо не что иное, как символ, берущий свое начало в психике, или — того хуже, — что все это только лишь произвольная и умственная спекуляция, а потому подобает и соответствует "действительности" никак "не больше, чем" примитивная химера. Сегодня медицинская психология думает относительно "химер", конечно, совсем другое. Ей известно, сколь серьезные функциональные нарушения, с одной стороны, и сколь опустошительные психические последствия, с другой стороны, исходят из "только" фантазий. "Фантазии" суть естественные проявления и манифестации жизни бессознательного. Но так как бессознательное — это психика всех автономных функциональных комплексов тела, то его "фантазии" имеют этиологическое значение, которое ни в коем случае нельзя недооценивать. Из психопатологии процесса индивидуации мы знаем, что формирование символа очень часто сопряжено с психогенными телесными нарушениями, которые во всяком случае ощущаются как "очень даже настоящие". В медицине фантазии — реальные вещи, к которым психотерапевт должен относиться всерьез и принимать в расчет. Поэтому он не может оспаривать правомочность тех примитивных химер, которые свои содержания, пусть даже ради их действенности, проецируют во внешний мир. В конце концов, даже человеческое тело сделано из материала мира, и на таком материале фантазии становятся явными; но ведь без него они вообще непознаваемы. Без материала они были бы только абстрактными решетками кристалла в материнском растворе щелочи, где еще не наступил процесс кристаллизации.

Символы Самости возникают в глубине тела и выражают его вещественность точно так же, как и структуру воспринимающего сознания. Символ — это живущее тело, *corpus et anima*; поэтому "ребенок" является такой превосходной формулой для этого символа. Несравненность и своеобразие психики — это, конечно же, не то, что полностью осуществилось, но то, что постоянно находится в процессе осуществления, одновременно именно это является неременным основанием всякого сознания. Глубокие "слои" психики теряют по мере увеличения глубины и темноты индивидуальную несравненность. На пути "вниз", т. е. по мере приближения к автономной функциональной системе, они становятся все более коллективными, чтобы в вещественности тела, а именно, в химических телах, стать универсальными и одновременно прекратиться. Углерод тела — это углерод вообще. Поэтому "в самом низу" психика — это "мир" вообще. В этом смысле я могу совершенно согласиться с Кереньи, когда он утверждал, что в символе говорит сам мир. Чем более архаичным и "глубоким", т. е. чем более физиологичным является символ, тем он коллективной и универсальней, тем он "вещественней". Чем он более абстрактный, дифференцированный и специфичный, тем он более приближается к природе сознательной несравненности и однократности, и тем более с него стерта, сброшена универсальная сущность. В сознании он полностью рискует стать только аллегорией, которая нигде не выходит за рамки сознательного понимания, и где он уже подвержен всем возможным рационалистическим попыткам объяснения.

### 3. Гермафродитизм ребенка

Примечательным нам представляется тот факт, что, по-видимому, подавляющее большинство космогонических богов имеет двуполоую природу. Гермафродитизм означает не что иное, как объединение самых сильных и бросающихся в глаза противоположностей. Это объединение восходит прежде всего к примитивному умонастроению и расположению духа, в сумерках которого различия и противоречия или еще мало отделены друг от друга, или вообще смешаны. По мере же нарастания ясности и просветленности сознания эти противоположности все более отчетливо отделяются друг от друга и становятся все более несовместимыми. Поэтому если бы гермафродитизм был бы только продуктом примитивной недифференцированности, то следовало бы ожидать, что он чуть ли не искоренится по мере нарастания культуры. Но это отнюдь не так; напротив того, на высоких и высочайших ступенях культуры люди все снова и снова возвращались к этим представлениям и развивали их в своих фантазиях, как мы можем убедиться на примере позднегреческой и синкретической философии гностицизма. В натурфилософии средневековья гермафродитический *tebis* играет значительную роль. В самые ранние века христианства слышим мы в католической мистике (Koeppen. *Die Gnosis des Christentums*. P. 315.) об андрогении Христа.

Здесь, вероятнее всего, речь идет не о Еще-наличии примитивных химер, а об исходной контаминации противоположностей. Это древнее представление, как мы только что убедились из средневековых работ (Lapis как медиатор и медиум. Ср. *Tractatus aureus cum scholiis // hiagnetus Bibl. Chem. I. 408b. и Art. aurif. P. 641.*), стало скорее символом конструктивного объединения противоположностей, подлинным "объединяющим символом". Символ в его функциональном значении указывает не столько назад, сколько вперед, на какую-то еще не достигнутую цель. Не сетуя, не заботясь о своей чудовищности, гермафродит постепенно стал преодолевающим конфликты спасителем, впрочем этого значения он достиг уже на относительно ранних ступенях культуры. Это витальное значение объясняет, почему образ гермафродита в глубокой древности не только не потерял силы, но, напротив, в ходе тысячелетий сумел упрочиться и еще больше углубить свое символическое содержание. Тот факт, что в высшей степени архаическое представление достигло такой высоты значения, указывает не только на жизненную силу архетипических идей вообще, но демонстрирует также и правильность тезиса о том, что архетип посредничает, объединяя противоположности, между бессознательными основами и сознанием. Он наводит мосты между нынешним сознанием, которому грозит искоренение, и естественной бессознательной целостностью седой старины. Благодаря этому посредничеству однократность, несравненность и односторонность индивидуального современного сознания все снова и снова примыкает к природным и родовым предпосылкам. Прогресс и развитие — суть идеалы, которые не следует отрицать, но они теряют свой смысл, если человек прибывает в новое состояние, только как фрагмент самого себя, но все, лежащее в основе и существенное, оставляет в тени бессознательного, в состоянии примитивности или даже варварства. Если отколовшееся от своих оснований сознание не способно выполнить смысл нового назначения, то оно слишком легко впадает в положение, которое куда как хуже, чем то, из которого его собиралась освободить Реформация — *exempla sunt odiosa!* Именно Фридрих Шиллер был тем, кто впервые внял этой проблеме, но ни его современники, ни его потомки не сумели извлечь из этого какие-то выводы — и вместо этого хотели просто воспитывать детей. Поэтому я подозреваю, что *furore paedagogicus* — как бы приятный окольный путь, который обходит стержневую проблему, затронутую Шиллером, а именно — воспитание воспитателей. Детей воспитывает то, чем взрослый является, а не то, что он болтает. Всеобщее распространенная вера в слова — это настоящая болезнь души, поэтому такое суеверие все дальше и дальше заводит от основ человека и соблазняет к скверной идентификации личности с когда-либо уверованным "slogan". В то же время все преодоленное и оставленное в стороне прогрессом все глубже сползает в бессознательное,

откуда, наконец, снова возникает примитивное состояние идентичности с массой. И это состояние становится затем действительностью вместо желаемого прогресса.

Двуполюе прасущество стало в ходе культурного развития символом единства личности. Самостью, в которой конфликт противоположностей обретает покой. Прасущество становится на этом пути отдаленной целью самоосуществления человеческого существа, будучи с самого начала уже проекцией бессознательной целостности. Ведь человеческая целостность состоит из объединения сознательной и бессознательной личности. Так же, как каждый индивид формируется из мужских и женских генов, а тот или иной пол определяется преобладанием соответствующих генов, так и в психике, только лишь сознание, — в случае мужчин — имеет мужские черты, бессознательное же — имеет женское качество. У женщин имеет место обратное. Этот факт я только что вновь открыл и вновь сформулировал в своей Анима-теории (*Psychologische Typen. Definitionen v. Seele und Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Umbewussten. [Zweiter Teil. 2. Kp. Paragr. 296 ff.]*). Известен же он был уже очень давно.

Идея *conjunctio* мужского и женского, которая в герменевтической философии переросла, так сказать, в техническое понятие, проявляется как *mysterium iniquitatis* уже в гностицизме, вероятно, не без влияния старозаветного "брака с Богом", как например, ее изложил пророк Осий (Ос.1, 2). На это указывают не только известные традиционные установления (Ср. Fendt. *Gnostische Mysterien.*), но и евангельская цитата из второго послания Климента: "Когда двое станут едины, как снаружи так и внутри, и мужское с женским — ни мужским и ни женским" (Hennecke. *Neutestamentliche Apokryphen*. P. 176.12.). Эта логия сопровождается словами Климента Александрийского: "Когда вы попрали покров стыда (ногами)" (Clements. *Stromata*. III. 13.92.), что вполне относится и к телам, так как Климент, как Касиан (у которого взята цитата), а также как Псевдо-Климент толкуют слова духовным образом в противоположность гностикам, которые, кажется, *conjunctio* принимали слишком буквально. При этом они все же заботились — с помощью практики аборт и прочих ограничений, — чтобы биологический смысл их понуждения не взял верх над религиозным значением обряда. Несмотря на то, что в церковной мистике праобраз *hierogamos* возносился на недостижимую высоту и только иногда, как, например, у Мехтильды фон Магдебургской (Mechthild van Magdeburg. *Das Hiessende Licht der Gottheit*) более или менее ощутимо приближался к фюзису, — все же оставался он повсюду живым и служил предметом особой психической озабоченности. Символические рисунки Опицинуса де Канистры (Salomon. *Opicinus de Canistris.*) предоставляют нам интересную возможность ознакомиться с тем, каким способом этот праобраз выполнял инструментальную функцию по объединению противоположностей в патологическом состоянии. В герменевтической философии, господствовавшей в средние века, напротив, *conjunctio* осуществлялась совершенно и полностью в области фюзиса, и прежде всего в абстрактной теории *conjugium Solis et Lunaе*, которая, однако, несмотря на красочную фантазию, дала богатый повод к антропоморфизации.

При таком положении дел становится понятным, почему в современной психологии бессознательного вновь выявляется праобраз в форме противоположности мужского-женского, а именно, как мужское сознание и персонифицируемое с женским — бессознательное. Однако в результате психологического осознания этот образ очень сильно усложняется. В то время как старая наука почти исключительно была областью, куда могло проецироваться только бессознательное мужчины, новая психология, вероятно, должна признать также существование некоей автономной женской психики. И здесь мы имеем как раз обратный случай: женское сознание стоит в противоречии к бессознательному (персонифицированному как мужское), и поэтому его следовало бы уже обозначить не как Анима, а скорее как Анимус. Вместе с этим открытием усложняется также и проблема *conjunctio*.

Исходно ведь жизнь этого архетипа разыгрывалась полностью в области чар плодородия, а потому оставалась столь длительное время одним лишь биологическим



феноменом, не имеющим никакой другой цели кроме оплодотворения. Однако уже в ранней античности, кажется, расширилось символическое значение этого акта. Так, например, исполнение во плоти *hieros gamos* как культового действия стало не столько мистерией, сколько чистым домыслом (Ср. обвинение епископа Астериуса (Foucart. *Mysteres d'Eleusis*, Kap. XX). По сообщению Hippolytos верховный жрец сделал себя даже импотентом, выпив чашу с ядом. Такое же значение имеют священнические самокастрации на службе богини-матери.). Как мы видели, гностицизм также — плохо ли, хорошо ли — поусердствовал в том, чтобы соподчинить физиологическое метафизическому. В церкви *conjunctio* вообще полностью была исключена из сферы физического, а в натурфилософии она стала абстрактной "теорией". Это развитие означает постепенное превращение архетипа в душевное событие, которое теоретически можно охарактеризовать как комбинацию сознательных и бессознательных процессов (К вопросу о разбирательстве с бессознательным см.: *Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Erster Teil. 2 Kap.*). Практически же это совсем не просто, потому что, как правило, именно женское бессознательное мужчины проецируется на женское визави, а мужское бессознательное женщины — на мужчину. Но прояснение этой проблематики выступает областью специально психологической и более не подлежит комментированию в качестве мифологического гермафродита.

#### **4. Ребенок — как исходная и конечная сущность**

Фауст после смерти был зачислен в "Хор блаженных мальчиков". Я не знаю, соотносил ли Гете это диковинное представление с античными надгробными купидонами; последнее очень даже вероятно. Образ полишинелей указывает на кого-то завуалированного, т. е. невидимого, гения усопших, который отныне — в детском хороводе — опять обнаруживает новую жизнь, окруженный морскими образами дельфинов и богов моря. Море — это излюбленный символ бессознательного, матери всего живущего. Так как "ребенок" при известных условиях (например, в случае Гермеса и дактилей) имеет ближайшую связь с фаллосом как символом производителя, не удивительно, что он снова появляется в надгробном фаллосе в качестве символа обновленного зачатия.

Ребенок поэтому также является "*renatus in novam infantiam*". То есть он не только исходная сущность, но также и конечная. Исходная сущность была до человека, конечная — после человека. Психологически это высказывание означает, что ребенок символизирует "предсознательную" и "послесознательную" сущность человека. Его предсознательная сущность — это бессознательное состояние самого раннего детства, послесознательная сущность — антиципация *per analogiam* того, что вне смерти. В этом представлении выражается всеобъемлющая сущность душевной целостности. Целостность ведь никогда не состоит только из объема сознания, но включает неопределенное и неопределяемое протяжение бессознательного. Поэтому эмпирически целостность имеет необозримое распространение, она — старше и моложе сознания, обнимает его в пространстве и во времени. При таком определении речь идет не о спекуляции, а о непосредственном душевном опыте.

Происходящее в бессознательном зачастую не только сопровождает процесс сознания, но постоянно даже направляет, поддерживает и приостанавливает его. Душевная жизнь была у ребенка еще до того, как он имел сознание. Даже взрослый человек еще говорит и делает вещи, о которых он, по-видимому, только впоследствии узнает, — если это вообще когда-либо происходит — что они означают. И все же он говорит о вещах и поступает так, как если бы он это делал осознанно. Наши сновидения постоянно нам рассказывают о таких вещах, которые находятся вне предела нашего сознательного воззрения (почему их так хорошо использовать в терапии неврозов). Наши предчувствия и ощущения происходят из неизвестных источников. Страхи, причуды, намерения, надежды охватывают нас без видимой причинности. Этот конкретный опыт образует основу того чувства, будто мы

недостаточно известны самим себе, а вместе с тем — и мучительное подозрение, будто переживание самого себя было полной неожиданностью.

Сам по себе примитивный человек не является загадкой. Вопрос о человеке — это, собственно говоря, последний вопрос, который приберет себе человек. Примитив же имеет столь много душевного вне сознания, что для него опыт психического, находящегося вне его самого, в значительно большей степени привычен, чем нам. Сознание — со всех сторон защищенное психическими силами и вedomое (или же находящееся под угрозой и обманутое) есть праопыт человечества. Этот опыт спроецирован на архетип ребенка, который выражает целостность человечества. Он — нечто покинутое и брошенное, и одновременно нечто божественно-могущественное, начало — невидимое и сомнительное, а также триумфальный конец. "Вечный ребенок" в человеке — это неопиcуемый опыт, какая-то неприспособленность, изъян — и — божественная прерогатива, нечто неуловимое, что составляет последнюю ценность и бесценность любой личности.

## Заключение

Я отдаю себе отчет, что психологическое комментирование архетипа ребенка без подробного документирования — только эскиз. Так как речь идет все же о психологической целине, то мне предстоит в первую очередь наметить возможный объем проблематики, поднятой нашим архетипом, и описать, по крайней мере, его различные аспекты в резюмирующем изложении. Провести четкую границу и дать точные формулировки понятий в этой области положительно невозможно, так как сущность архетипов состоит в их взаимном струящемся проникновении друг в друга. Их можно в каждом случае описать только приблизительно. Их жизненный смысл получается скорее из совокупного изложения, чем из единичного формулирования. Всякая попытка более строгого изложения тотчас же наказуется, потому что она гасит истину непостижимого ядра значения. Ни один архетип не может быть сведен к простой формуле. Он — сосуд, который никогда нельзя ни опустошить, ни наполнить. Он существует в себе только потенциально, и будучи преосуществлен в материале он уже более не то, чем был только что. Он пребывает косным на протяжении тысячелетий и тем не менее всегда жаждет нового толкования. Архетипы — непоколебимые элементы бессознательного, но они постоянно изменяют свой облик.

Почти безнадежно вырвать один-единственный архетип из смысловой ткани души, но именно из-за своей переплетенности они тем не менее образуют интуитивно схватываемое единство. Психология как одна из многих жизненных проявлений души работает с представлениями и понятиями, которые, в свою очередь, опять же выводимы из архетипических структур и которые, в соответствии с этими структурами, только лишь порождают тот или иной абстрактный миф. Психология, следовательно, переводит архаичный язык мифа на современную, если таковая еще не известна, мифологему, которая составляет элемент мифа о "науке". Эта "бесперспективная" деятельность есть живущий и прожитый миф; для людей же соответствующего темперамента она удовлетворительна и даже целебна, поскольку они отделились от основ души из-за невротической диссоциации.

С архетипом ребенка эмпирически мы сталкиваемся в процессах индивидуации, спонтанно или терапевтически запущенных. Первая форма "ребенка" по большей части тотально бессознательна. В этом случае налицо идентификация пациента с его личным инфантилизмом. Затем наступает (под влиянием терапии) более или менее постепенное обособление и объективация "ребенка", и, следовательно, разложение идентичности под воздействием интенсификации образов фантазии (подчас технически поддержанных); при этом все более заметными становятся архаические, т. е. мифологические черты. Последующий ход превращения соответствует героическому мифу. Как правило мотив великих дел отсутствует, но все большую роль играют мифологические угрозы. Чаще всего на этой стадии опять возникает идентичность с аттрактивными невротическими ролями

различного происхождения. Эта идентичность зачастую очень устойчива и сомнительна для душевного равновесия. Если удастся разложить эту идентичность, то образ героя — из-за редукции сознания до человеческого размера — постепенно может дифференцироваться вплоть до символа Самости.

В практической действительности речь идет, благо это понятно, не столько о чистом знании относительно такого развития, сколько о переживании превращений. Начальное состояние личного инфантилизма демонстрирует образ "покинутого", т. е. "непонятого" и несправедливо обойденного ребенка, который имеет дерзкие притязания. Эпифания героя (вторая идентификация) проявляется в соответствующей инфляции: несоразмерное притязание становится убеждением, будто бы ты есть нечто особенное, или же невыполнимость притязания доказывает собственную неполноценность, что пособничает роли доблестного страдальца (негативная инфляция). Несмотря на полную противоположность, обе формы идентичны, поскольку сознательной грезе о великом соответствует бессознательная, компенсирующая неполноценность, а — сознательной неполноценности — бессознательная греза о великом (никогда не отыскать одного без другого). Если подводные камни второй идентификации счастливо обойдены, то сознательное событие может абсолютно отделиться от бессознательного, а бессознательное событие можно будет объективно наблюдать. Из этого следует возможность спора и разбирательства с бессознательным, и вместе с тем, возможность синтеза сознательных и бессознательных элементов познания и поступка. Из-за этого, в свою очередь, возникает смещение центра личности с Я на Самость (Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.).

В таком психологическом обрамлении чередуются мотивы заброшенности, непреодолимости, гермафродитизма, сущности исхода и конца, — как различные категории переживания и познания.

Юнг К.-Г.



С любовью,  
электронная библиотека  
[Theosophy-Books.org](http://Theosophy-Books.org)

